

наши публикации

Валентин РАСПУТИН о Василии ШУКШИНЕ

Твой сын, Россия, горячий брат наш...

МНОГО лет не выходит у меня из головы, стоит и стоит перед глазами картина с двумя девушками-школьницами, горько и неутешно, как по родному, плачущими на лохоронах Шукшина. Скорбное это событие снималось любительской камерой, снималось урынками то, что попадало в тесный огромный толпой объектив, — и вот крупным планом два юных, от слез еще более красивых, как бы прижимающих в эти минуты прозрачные, лица, преобразенные страданием и одухотворенностью в лики. И хочется, иногда до нетерпения хочется узнать, что же стало теперь с теми девушками, поразившими выражением горя и просветленности, и боюсь: вдруг ничего хорошего и возвышенного не осталось, измельчали в обесценивающих тревогах и мелочах дня, загасили так видимо вошедшее в них и призывавшее озарение.

И все мы — сохранили ли мы ту общность, ту чувствительность друг к другу и соединяющей нас кровности, много ли исполнили из невольной вырвавшихся обещаний, на что потратили порыв, готовность претерпеть, не распущена ли духовная рать для защиты отечественных святынь, чему дали возрасты из того, что соединило нас в торжестве октябрьские дни 1974 года при прощании с Шукшиным?

Нет, не может такого быть, чтобы забылось, истрепалось и завалялось новыми событиями и впечатлениями то событие и впечатление, когда многие и многие тысячи людей облетала, прощались и обращались, надорванная неслышной работой душа Шукшина.

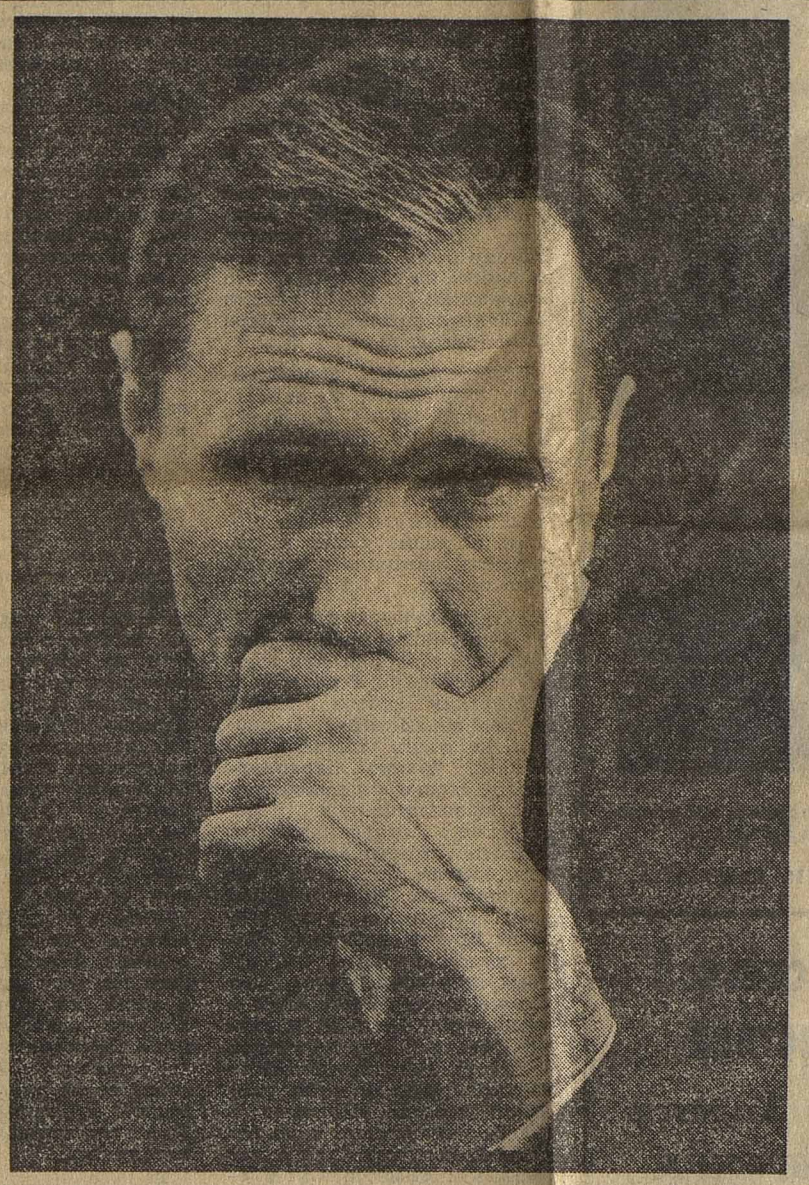
Не может такого быть, чтобы в наши дни, не вмешиваясь в происходящее, пребывал он тихо на заслуженном отдыхе, чтобы отдавалась и отбывала его боль за человека и Россию, отойдя в былое и превратившись во вчерашние вопросы его яростные поиски совести и души.

Но время идет, и родившиеся в год смерти Шукшина становятся сегодня его читателями. Для них он невольно имя классического ряда, так же, как Александр Вампилов, как ушедший недавно Федор Абрамов. Тут, в этот ряд, определяет не только литературоведение, сколько народное мнение, знающее заслугам свой счет. Ученые умы могут и силой подсказать какого-нибудь своего избранника на классическую полку и водрузить на его голову терновый венец, а читатель спустя несколько лет о нем забудет, и тот, передвигаемый все дальше и дальше, попадает на положенное ему по справедливости место.

Если вспомнить шукшинскую сказку «Два третьих петухов» и представить библиотеку, из которой персонаж русских сказок Иван-дурак собиранием литературных героев отправлен был за справкой, должный удостовериться, что он, как пишут в предисловиях, вовсе не дурак, то как, должно быть, неутою чувствует себя в этой компании шукшинский «чужик» Алеша Бесконвойный. Не миновать и ему отравляться за справкой, что он нормальное и самое что ни на есть типичное лицо. Степан Разин, тот сразу взобрался на верхнюю полку в дружку к Илье Муромцу и своему собрату из доносских атаманов, которые, по общему мнению, зычно, но невольно глаголят, мало что понимают в современной обстановке и, привычные повелевать, мешают справлению демократических норм жизни. Однако они, былинные и ватажные богатыри, и впрямь невольно ориентируются во всех хитросплетениях текущей обстановки, неведь куда текущей, и зачастую вынуждены помалкивать. Но Алеша-то, Алеша Бесконвойный недавно из мира сего, наш, можно сказать, современный, и по горячему своему характеру не в силах сдержаться, когда библиотекарша, это чело нынешнего образования и самообразования, называет кому-то по телефону и приглашает в театр:

— Какой спектакль? Я что — звякнулась,

«Нет,
не отменяется
и не отменится
никогда
тяжкая
служба
русского
художника:
«виждь
и внемли»



идти на спектакль! Ты уж совсем закаменел. У них там авесалом, этот... Видеосалон. Они на само... на само... в общем, на само... порнуху гонят. Пляриализм. Я возьму с собой спонсора, и ты бери, а там, если что, сыграем в перестройку. Фирма веники не вяжет. Тявка, милый, не тявкай. Это тебе не застойные времена, я не могу всю жизнь стоять в одном стойле. Ну, ладно, ладно, устроим брифинг. Потом развеем к Джигу, у него баня с подогревом. О-о-у-у, прямо пот целомудрия выступил. Скорей в театр.

Послушав на дню подобное раз десять, сунется Алеша возмущаться и напорется по инициативе Вединой Лизы или какой-нибудь Таши Ивановой из последних активисток на резолюцию: без справки, что ты не чулик и не дурак застойной эпохи, терпеть тебя больше не станем. Баню он топил по субботам, подумавшись, важность какая! В баню мы тебя к Джигу и определим, которая с подогревом, там поймешь, что за времена на дворе. Ничего ты чалый не выражешь, пеня дремучий, и с передовиками мысли находиться не имешь права. Чтоб до третьих петухов справка имела.

Делать нечего, отправится Алеша Бесконвойный искать знакомого нам Мудреца, веда-

ющего справками, и такого по дороге к нему и у него насмотрится, такого унижения натерпится и таких обвинений наслушается, что, едва-едва к третьим петухам успеет заскочить в библиотеку, приступит он еще отчаянней, чем до него Иван-дурак, к Илье Муромцу и доносским атаманам: «Нам бы не сидеть! Не расскидываться бы нам!» И, когда поведает он о своих похождениях, Иван и тот схватится за голову: до этакое у него пору было еще далеко.

Нам сейчас очень не хватает Шукшина. Казалось, он сделал все и даже больше, чем мог один человек, писатель, режиссер и актер, сделать для собирания разрозненного, растерянного по кусочкам, разросшегося населения со слабой памятью, оставившего свои исконные веси и забывавшего свои старинные песни, в одно духовное и рожденное тело, называемое народом. Читатель и зритель принял Василия Шукшина не за доступность, не за шуточки и фокусы, на которые горазды его герои, все скоро прошло бы с приходом нового дня и новой популярности — нет, завед чувствительные и художественные струны, он задел гораздо большее — неотмеренные корни народные, добрался до их нервных окончаний и безжалостно давил и давил на них: больно?

А больно — так жив, а жив — так подымайся, берись за ум и собирайся на народную службу, хватит обходиться хлебом да потешалом, плодить безродность и бесславность, где-то у тебя должна быть душа, память, вера, прислушавшись к ним. Распущенный по человеку, потерявший связь — не народ; лишенный в народе вечности — не человек.

В происходящих сегодня прекрасных и яростных переменах нам не хватает Василия Шукшина как честного, никогда, ни при какой погоде не лопавшегося голос художника, скроенного, составленного от начала до конца из одних болей, порывов, любви и таланта русского человека, как сына России, который нес в себе все ее страдания и хорошо понимал, что для нее полезно и что губительно.

И когда упрекают ныне литературу, что она отстает от стремительности и калейдоскопичности событий, что слишком долго осмысливает она решительный, и, возможно, судьбоносный поворот истории, в этом есть доля истины. Умел из частного, ничем не примечательного случая сделать замечательный рассказ, Шукшин умел и в хаотичности, и разнородности дня рассмотреть направление, предвидеть его результаты. Его «чулики», надо полагать, взял бы уже семейный поклад на оставленной земле, отведая в аэропорту кооперативного шампилья, а затем заглянул в кооперативный туалет, там и там кой-чем заинтересовался, не удержавшись от спора, кому это выгодно, он бы принял участие в предвыборном митинге, поехал над разгулом демократии и сам бы крикнул от себя посреди общего крика: он бы пробился на конкурс красоты, являясь обсуждать с соседом прелести «королевы» плоти, он бы до жюри дошел, доказывая, что деревенское происхождение, замечное в размерах тазобедренной части, это уже самое главное... О, ему, «чулику», было бы сегодня чем занять свою острую наблюдательность и способность встречать и доискиваться до сути вещей.

Едва ли есть смысл гадать, где, на чьей стороне стоял бы в наши дни Шукшин в разноречивых спорах, вокруг путей благополучествования общества, он выбрал свою позицию раз и навсегда и имел возможность сказать о ней недвусмысленно.

Василий Шукшин не пришел в искусство в том понимании, как профессионально образовавшийся, принявший определенные правила искусства автор пристраивается в избранное общество с крал и принимается по мере таланта постепенно проявляться в центр. Он сразу вошел в центр — точно пророс из земли, так что передвинуть его оказалось невозможно.

Все в нем и его слове естественно, самовыворазимо, прочно, все пропитано солями, которые содержатся в породившей его почве, отмерено мерой народа, из которого он произошел. Время от времени в искусство для того, кажется, и являлись такие личности, чтобы они не заблудились и не забылись, не потеряли цену слову и чувству. Они приходят, и слово пелена спадает с глаз: вот же он настоящее, а то, что выдавало себя за настоящее, не стоит и ломаного гроша.

В кругу витийствований, с одной стороны, и затверженных формул в искусстве, с другой, Шукшин испытывал и подозрительность, и нестроительность, и неприятие. Уж лучше бы он вылезал простым. Он словно бы не писал, а записывал, не играл, а регистрировал меж строкми шукшинского письма оставалось так много воздуха, слово его было столь безыскусно, что привыкший к красотам разглагольствования и длинным периодам слух ощущал некую некомфортность. Не сразу приходило понимание, что это и есть литература, это и есть искусство. Не по форме одетая, не обряженная в словеса и кулееса, скроенная на первый взгляд наспех, являлась живая и точная кар-

тина жизни, сильная и азартная, являлась в том законченном виде, когда любая нескладность, заговорив, превращается в необходимость.

Не Шукшин входил, как в костюм, в роль, а роль, как в убешение, входила в него, не он подбирал полхождений случай, событие, сцену, то, что называется в литературе сюжетом, а они, будто бы случившись, проижда самостоятельным, искали его заступничества. Читая Шукшина, не чувствуешь мук рождения рассказа, не замечаешь швов, которыми сшивался он в одно целое, а чувствуешь чудо воскресения события, признания его в ряд, справляющий наипервейшую службу.

Служба эта — расшевелить человека, возвести его душу из-под наростов довольства, обид и заблуждений, представить ее, так сказать, владельцу для пользования. Мало кому удавалось столь близко подступиться к человеческой душе, услышать ее славенный, стонущий зов, как Шукшин.

Служба эта — расчитать родники, по которым по единиче, по душе, по человеку мог бы сойтись, созвездия, стать рядом плечо к плечу утешивший от побоев и болезней, от одурманивания и растления народ, сойтись по той самой необходимости, которую Шукшин имел в виду, говоря, что «народ всегда знает Правду».

Служба эта — собориться воином, стать на защиту родной земли от разбазаривания и надругательства, от мотовства, не виданного прежде даже в годы военных поражений. Тут можно добавить еще как бы в скобках, но не за чертой шукшинской темы, что разбазаривание это привыкло твориться во имя какого-то абстрактного благополучия абстрактного народа — живой народ и должен высказаться к нему отношение.

Все настоящее, искреннее, если даже произносится оно впервые, является человеку, как воспоминание. Именно потому что оно истинное, для него словно бы оставлено место, ждущее заполнения и освещения. Как бы не остерегались мы, преувеличив значение художника такого масштаба, как Василий Шукшин, оно само оказывается в звучании его имени и в том невольном отзвуке, какой рождает он в наших сердцах. Если бы потребовалось явить портрет россиянина по духу и лику для какого-то свистельствования на всемирном съезде, где только по одному человеку решали судить о характере народа, сколь многие сошлись бы, что таким человеком должен быть он — Шукшин.

Ничего бы он не скрыл, но ни о чем и не забыл.

За те пятнадцать лет, что миновали после его смерти, ничуть не потерял своего исконного смысла слова, которые он писал с большой буквы: Народ, Правда, Живая Жизнь. Ни восклицательного, ни вопросительного решения они не утратили. Но сегодня сама живая Жизнь заставила бы, вероятно, Шукшина сделать к ним пояснения и добавления, идущие от прошедших за последние годы перемен. Совсем недавно, кажется, эти понятия шли вместе с нами на приступ отнюдь не мифической крепости, за стенами которой они рассчитывали существовать и развиваться вольно и полнокровно. Ныне эта крепость взята, любое слово звучит в ней свободно, однако победители слишком быстро разошлись во мнениях — что же такое Правда, Народ, Свобода, где, в каких краях некая доброта и выгоды. И когда не хватает голоса, когда на каждое слово раздается в противоречие десять, снова и снова вспоминаешь и призываешь Василия Шукшина: к сказанному он бы еще сказал так, что его не нашли бы чем оборвать и заглушить.

Нет, не отменяется и не отменится никогда тяжкая служба русского художника: «виждь и внемли».

Композитор Евгений ПТИЧКИН



Семья Шукшиных.

Может быть, кому-нибудь покажется странным, что о писателе пишет композитор. На то есть свои причины. Уже подмечено, что Василий Шукшин был удивительно чутким к музыке; это ощущается и в его книгах, но, пожалуй, не менее — и в его фильмах. Именно кинематограф свел меня с ним на «Мосфильме», на обсуждении, на просмотрах, когда забываешь, что ты музыкант, и становишься простым зрителем, для которого удивительно интересны шукшинские герои, жизнь, закрученная на экране в удивительную спираль каких-то непредсказуемых явлений, судеб, поступков. Порой даже не понимающих логику привычного, но принуждающих думать... Вспоминаю сегодня встречи с Шукшиным на заседаниях художественного совета киностудии, вновь и вновь возвращаюсь к тому удивлению, какое вызывала его способность даже на таком ристалище мыслить образно, с каким-то художественным подтекстом. Поначаду, например, казалось, что он говорит о чем-то далеком от темы обсуждения, но потом — вдруг возникала какой-то поворот, чуть заметный штрих, и вот она, образная картина, понятная без излишних словосочетаний.

О Шукшине говорили как о «деревенском» писателе, потом назвали «городским». Критики искали истоки силы его таланта, спорили о самобытности и праве его героев занимать свое место в нашей жизни. И забывали... о Шукшине-человеке, о его сердце. Нервном, наполненном кровью и действительно страданием, которому валило слабое утешение, когда нет нравственной помощи. И оно не выдержало своей ноши всего, что пришлось пережить. Есть люди, которые умеют «срываться» на других, как бы освобождая себя от груза несправедливого, от стрессовых испыта-

ний на дороге жизни. Другие не умеют. И мне кажется, Василий Макарович был именно таким. Он стискивал зубы, желавки ходили на скулах, но слезливались. Его боль выливалась в произведениях...

Сколько кое-кому о Шукшине хотелось бы забыть. Вернее — подернуть бы хрестоматийной раской. Ну, поставить на полке — томик к томику. Как ни горько, но это так. Нет, не перевелись еще высмеянные им «энергичные люди».

Сколько открыл он нам, сколько неожиданного увидел окрест! Взять его «чуликов», способных иметь свое мнение, высказывать личное суждение, разве без них повернешь колесо жизни? И вопрос о покинутых деревнях, поднятый им, стал государственным. И обидя за человека, испытывавшего несправедливость от «властью наделенных», причем независимо какой — от няньки ли в больнице, продававшей ли до чинуши-чиновника, — пробудила наконец-то протест, подняла нас на борьбу за человечность, за милосердие.

По первому впечатлению, как верно подметила критика, книги Шукшина — это пестрый мир самобытнейших, несхожих, самодельных характеров, но, вдумавшись, видишь, что этот мир вытекает, словно слиясь, в единую, противоречивую и непоследовательную, и вовсе не множество разных типов писал Василий Шукшин, а один психологический тип, вернее, одну судьбу...

Так вот, самобытная «шукшинская жизнь» захватывала меня однажды своими реалиями и стала творческим маяком для собственных композиционных замыслов. Может, неосознанно винил я себя в том, что мало говорил с Шукшиным, имея такую возможность почти

Евгений Птичкин — народный артист РСФСР, председатель Музыкантского фонда СССР. Автор одиннадцати музыкальных произведений для театра. Среди них — «Выйди буй», «Сладкая ягода», «Свадьба с генералом», «Дилжан из Руана», «Русь — благородное дело». Написал музыку к более чем семидесяти кинофильмам. Среди них — «Служили два товарища», «Я — Шаповалов Т. П.», «Любовь земная», «Судьба», «Особое задание», «Победа». Особое место в творчестве композитора занимает песня. Из более трехсот — «Ромашки спрятались», «Я люблю свою землю», «Даль великая», «Эхо любви», «Сладкая ягода», «Мы в боях родились»...

Пришел дать волю

постоянно... А может, не захотелось мне расставаться с ним — и на долгие годы книги его стали для меня поводом для композиционных да и чисто человеческих раздумий... По моему глубокому убеждению, лишь настоящее литературное произведение может подлинно композитора на сочинение. Так случилось, что я сел писать оперетту «Сладкая ягода» составленную из рассказов Шукшина «Среал», «Верую», а также сценария «Живет такой парень» и фрагментов повести «Энергичные люди». На первый взгляд, все они — не очень-то сочетаемые произведения, но ведь, по сути, повествуют они об одном и том же. При некотором несовершенстве драматургического материала (пьеса К. Васильева, стихи И. Шаферана) это была все-таки первая заявка на создание спектакля на современную тему, и более того — «Сладкая ягода» привела на музыкальную сцену шукшинскую прозу.

В прологе «Сладкой ягоды» старик с горечью подмечает: «...и пустеют деревни. Уходят из родного села парни и девушки. Идут сладкую ягуду городской жизни». Выражение «сладкая ягода» — примета времени, как бы «сияная пята», ухватить которую пытаются многие персонажи Шукшина.

Своеобразный язык Шукшина, умение говорить аллегорично, ерничать, балагурство от смущения, боязни показать себя «слабаком», спастись перед иной «ученостью» — все это великолепный материал, живой, непосредственный. Он влечет какой-то неумолимой силой, азартом, которые охватывают тебя и держат крепко, властно.

Между музыкальной комедией «Сладкая ягода» и оперой «Я пришел дать вам волю», которую я писал по либретто К. Рыжова, созданного по мотивам одноименного рома-



Сцена из оперы «Я пришел дать вам волю».

Фото А. Ковтуна.

на В. Шукшина. — Большой перерыв. Горестный, поскольку не стало Василия Макаровича. И в память о нем я написал песню «Посвящение» на стихи Анатолия Поперечного. Ее исполняли Людмила Зыкина и София Ротару. Кажался — по-своему, в своей манере и как бы со своим пониманием Шукшина. Тогда, сразу же после того, как его не стало, много говорили о книгах Шукшина, показывали его фильмы, вспоминали и настоящие друзья, и те, что вдруг стали ими. А потом... вроде как и забыли. Хорошо, что судли пыль с сочинения, допустим, Салтыкова-Щедрина, отсылая на его страницах аналогии с современностью, а вот о том, что Шукшин работал в русле именно щедринских тождеств и работал по-своему, перестали вспоминать. Впрочем, как говаривал сам Василий Макарович: «Логика искусства и логика жизни — о, это разные дела! Логика жизни — бесконечна в своих путях, логика искусства ограничена нравственными оценками людей, да еще логикой данного времени...»

Степан Разин явил для меня совсем другого Шукшина. Не только возросшим мастерством, зрелостью таланта, мудростью знания жизни, но и грусти, опущения чего-то уходящего. «Главный момент в решении образа Разина: на экране человек не устранный предстоящей смертью, а полный любви и сострадания к простым людям, которых он вынужден оставить». Таким он должен запомниться», — так написал Шукшин в ноябре 1970-го. Но узнал я об этом недавно. Однако вот что удивительно — именно таким я и представлял себе Разина после прочтения сценария. Все, что знал ранее, померкло перед шукшинским образом. Мне стала понятна непредрасказуемость поступков героя и в общем-то даже

его одиночество. «Я пришел дать вам волю», говорит Разин людям: «Дал ли?», вопрошают голоса. Дал, поскольку освободил от покорности несправедливому, жестокому. Освободил от непослушания послушанию команде без права возражения. Думается, не случайно Шукшин так рвался к образу Разина. Его гражданская суть требовала освобождения от покорности от долгого молчания...

При всей твердости характера, необузданности Разин — лирический герой. Недаром народ наделил его былинными качествами. Опера «Я пришел дать вам волю» явилась мне произведением с большими хорами, массовыми народными сценами, на фоне которых образ Разина обретал бы еще большую силу, становясь героем не толпы, а народа, вечного зова к свободе, что испокон веков присущ русскому человеку.

Перечитывая Шукшина, я долго искал музыкальную тему Степана Разина, и пока не нашел ее. Своеобразный ключик ко всей опере, не мог написать ни строки. Это был поиск, мучительный, долгий. Тем более что я искал оригинальное решение, без известных уже красок знакомых мелодий, услышанных в народном творчестве. Другими словами, Разин в музыкальном звучании должен был полностью соответствовать Разину, увиденному и воссозданному Шукшиным.

И что бы ни делал, я постоянно ощущал рядом внимательный и требовательный взгляд Василия Макаровича, слышал его голос, чувствовал музыку его слова, его образов. Как удалось воплотить все это в опере? Наверное, судить не мне. Опера уже выходит к людям. Она — мое возвращение долга перед Шукшиным, мое преклонение перед его жизненным и творческим подвигом...

Штрихи к портрету